

ПРЕКРАСНАЯ БЕЛЛАТРИКС

... и направилась в парикмахерскую на улицу Труханова, где в дамском зале царил Живоглот, которого лидские мужики боялись, а женщины — хотели, чуя в нем животное, — руки Живоглота полнились мужским теплом и в ладонях его порой трещали искры; дамы садились в парикмахерское кресло с чувством восторженного ужаса и млели, как только пальцы мастера касались их головок; Белла хорошо знала Живоглота и не верила байкам про него, приходя каждый раз именно к нему и терпеливо высиживая очередь; он единственный мог прибрать ее вздорные волосы и делал это всякий раз легко, виртуозно и с огромным чувством, но теперь она пошла не к Живоглоту, то было бы оскорблением Живоглота, она вошла в зал и прошла мимо Живоглота, вошла и прошла мимо, направившись в угол, к креслу ученицы Зоси, едва ставшей мастером буквально на днях, — Зося побледнела... Белла села и решительно сказала: под ноль, — на лбу Зоси блеснула влага, она сделала шагок назад, словно пытаясь бежать, но скрепилась и медленно, словно раздумывая, связала углы простыни на шее клиентки... взяв ножницы, подняла их и в том же раздумье взглянула в зеркальное стекло: Белла сидела твердо, плотно, всем видом своим утверждая непререкаемую уверенность, нерушимую решимость, и тогда Зося с колотящимся сердцем подвинулась, повернула ножницы и, взяв левой рукой тяжелое золото волос, сделала первый надрез... Белла не дрогнула, но в глазах ее явилась тень, а Зося уже решительнее делала дело... все, кто был в зале, глядели в ее сторону, и даже Живоглот, оставив работу, со сладострастием в лице стоял и смотрел, как Зося срезала рыжие волны, дрожа от ужаса, а потом взяла машинку и стала, хищно сжимая ручки машинки, словно овцу, стричь ставшую сразу маленькой и жалкой головку Беллы, — сталь машинки посверкивала в тусклом свете сорокаваттной лампочки, свисавшей с потолка на черном закрученном шнуре, и смачно чавкала, снимая золотой ежик волос... когда Зося положила машинку, жестом иллюзиониста сняла с Беллы простыню и всмотрелась в зеркальный сумрак, ей помнилось, будто глаза клиентки мелькнули влажными просверками и... погасли; с замиранием сердца Зося отошла к окну, Белла встала, бросила на полку мелочь и, гордо подняв голову, медленно пошла к двери, — каблучки ее звонко цокали по кафелю пола, шуршало платье, и эта плавная поступь, важное шествие и весь пафос движения были почти эпичны... она шла, как оперные примы ходят по лучшим сценам мира, когда зовут их на бис, как королевы, всходящие на эшафот, но шла не для зрителя, а для себя, — как диктовала природа, как велела судьба, а ведь судьба была зла и не сулила ей счастья: отец Беллы

Флавиан служил диаконом в Свято-Михайловском соборе, но в девятнадцатом году остался не у дел: в пасхальные дни в собор вошли безбожники, сорвали службу и стали громить иконостас; настоятеля, отца Иосифа, забили до смерти, но Флавиану со псаломщиком удалось скрыться через тайный ход, — потом уже его не трогали, хотя и смотрели иной раз волками; пришлось ему пойти в дворники, — хотел уехать в Гродно, а то и в Белосток, да там католики, лучше дворником, чем в соседи к чужеверцам; так жил в Лиде, подметая улицы, но случилось, что от поляков как раз и не уйти, — через год Лида стала польской, зато и красных армейцев ветром истории смело; вот в двадцать третьем жена Флавиана разродилась Беллой, только церковное имя ее было Виринея, ведь Беллы в святцах отродясь не водилось; дело было вот в чем: Флавиан владел большой трубой из отполированной латуни, которую он называл *perspicillum* или *крупноскоп*, — труба выдвигалась в три колена, имела внутри множество волшебных линз и позволяла видеть звезды: Флавиан был любитель звезд, и это никак не противоречило его диаконскому званию; он говорил: ищу Бога, я Его обрел, осталось теперь лишь найти; любимая звезда была у него Беллатрикс, то есть *воительница*, третья звезда в созвездье Ориона, одна из самых ярких в ночном мире Вселенной, вот в честь звезды и назвал диакон свою драгоценную дочь, родившуюся с таким характером, какой не у всякого мужчины можно бы сыскать; Белла была упрямой и решительной, держала удар и не прощала обид — как истинная воительница; ей бы мужиком родиться, стала бы воином, рыцарем, солдатом, но она родилась хрупкой девочкой, — солнццветной, белокожей и зеленоглазой; — лидские парни от нее с ума сходили, даже тогда, когда она еще подростком едва цвела, медленно и красиво превращаясь в женщину; в сорок шестом ей было двадцать три, и весной она пошла на вокзал, стала под вокзальным навесом и увидела: горячий поезд, снующие туда-сюда по перрону пассажиры и спустившийся покурить Полковник с едва прихваченными картонными погонами, — она и не знала, зачем идет, не понимала силу, которая вывела ее из дома, ей только шепнул кто-то сверху: иди, мол, — и она пошла, приходит, а там — поезд! и Полковник! она подошла к нему и говорит: пойдем со мной, милый... почему именно к нему, почему *пойдем со мной*, что это вообще было — наитие, озарение, фатум? но она подошла и сказала: пойдем со мной, милый, и он, как теленок, пошел за ней, и она привела его домой, а там отец, мать, и они его приняли как своего, будто только и ждали явления этого странного сержанта; так он и остался у них, а Флавиан, сделав шаткую ширму для него и дочери, как бы утвердил этот незаконный союз; звали Полковника Сергей, и все стали звать его Сергуня; происхождения он был захолустного, — фамилия его велась из нищего сельца Калининской области, куда даже колхоз в свое время не дошел, — жил он среди замшелых бабок и дедов, крытых мхами, лишайниками и мелкими грибами, — родителей не знал, считаясь коллективным внуком, и ел горький кусок из милости по

жалким дворам, — отца его извели большевики, ибо не дал же им зерна, а мать ушла после того в самый Калинин искать прокорма, да и сгинула, тут бы и ему пропасть, но его сельские деды призрели; лет пятнадцати пошел и он в Калинин и ночевал на каком-то крыльце, а то было крыльцо библиотеки, здесь взяли его библиотечные, поселили в подлестничной каморке и кормили, он за то мыл полы и санитарил и так к книгам пристрастился, что стал глотать их одну за другой, быстро прочтя целые собрания классиков, труды по философии и даже книги товарищей Ленина — Сталина, — более того, выучил немецкий, сам на сам, потому что любил Гёте; потом же какой-то простодушный донес на библиотечных, что, мол, в казенном учреждении обретается некий нелегальный, а пачпорта у яго, стало быть, нема, нать бы попроверить, што за гусь такой, можа и шпиен, ну, его и отконвоировали куда следует, а библиотечных посажать грозились, — Бог, впрочем, миловал, не посажали, только горячим ветерком подуло, да волосы виноватым подожгло, а его пощупали и позвали в милицию работать, ну, как в милицию, — не в милицию, конечно, а — при милиции, — ходить по дворам, вынюхивать, подслушивать и всякий день докладывать: кто, дескать, что сказал, чем дышал, какую пищу ел и из какой бутылки пил; поселили его в милицейской общаге, рядом с туалетом, и так он вламывал года три-четыре, а потом его взяли самым младшим милиционером и он бытовые кражи разбирал; позже его стали и в засады брать, если где малина какая, блатхата или хаза, — он безбашенный был, никого не боялся и всегда влезал в самую середину свары; быть бы ему грозой блатных, да грянул сорок первый, и он уже в конце июня пошел добровольцем, — приходит на призывной, а ему говорят: товарищ, у тебя бронь, — он говорит: ничего не знаю, — на другой день приходит, ему снова говорят: у тебя бронь, — а он снова: ничего не знаю, — его не берут и все! убейся, а бронь не перешибешь... он плюнул, матюгнулся и в третий раз явился, ему вновь говорят: бронь, так-растак! а он достал табельный наган, стал орать, накачиваясь кровью, и показал такие изощренные знания альтернативного русского, что добился своего и почти два года после воевал, не сдерживая в атаках бешенства, так точно, как делал это, расстреливая в бою калининских бандитов, — до тех пор, пока не попал в мартовскую *мясорубку* подо Ржевом, откуда уж его достал враг, двинув предусмотрительно прикладом в лоб, — у него не было патронов, а в руках оставался лишь скользкий от крови штык-нож, которым он все махал и махал, не желая сдаваться, но немцы — трое — стали над ним и долго прикладывали прикладами; эта возня кончилась для него повреждением головы и бараком в Аушвице, где его избивали и травили псами, пытаясь вызнать военные секреты; когда он оправился, немцы взгляделись в него и увидели: погоны сержанта, которые едва в феврале легли ему на плечи, хорошее знание немецкого и даже знакомство с Кантом и Фихте, а главное — пленник добывал где-то картонные бирки и углем рисовал на них звезды, и то были не погоны сержанта, а совсем другие погоны, — так немцы прозвали

его Полковником и стали таскать на допросы, пытаюсь выбить из странного узника что-то для себя полезное, но узник ничего не знал или уж, во всяком случае, молчал, чем приводил начальство к истерикам: один раз его били, что-то выспрашивая, и он сказал: наше командование формирует большую армию в Антарктиде, а там у нас, дескать, такое оружие, что вам, басурманам, придет скоро уже наконец полный... тут он по-русски словцо употребил, которое не могу привести в силу известных всем препонов, а он — мог, потому что ограничений знать не знал и знать не хотел, и скажите, мол, фюреру, добавил он еще, что у англичан ружья кирпичом не чистят, пусть чтобы и у них не чистили; тут немцы задумались, но потом очнулись и куда следует оперативно доложили, — дошло до фюрера, и фюрер приказал бомбить Антарктиду, чтобы уж положить конец очевидной угрозе; Полковника же между тем пытали далее, выведывая все новые и новые секреты, — он же был полковник, не сержант, вот его и пытали от души, но он держался, — его били, резали и жгли почем зря, а как-то свалили в землю и давай над ухом стрелять: он лежит на спине и моргает в ужасе, — враг стреляет, пули с грохотом вгрызаются в почву, Полковник уж не слышит пуль, ибо звуки мира покинули его... поиздевались над ним, словом, да бросили, валяйся, падаль, покуда не подохнешь... но он выжил, хотя и оглох на левое ухо, а правым слышал едва-едва, — выжил и дождался Победы, то была и его личная победа, потому что несмотря ни на что он выстоял, а значит, победил; его, правда, долго лечили, мотали по госпиталям и в целом поправили, только что глухоту не победили и голову не сумели на старое место уместить; с виду он, конечно, хорош был, бравый такой военный, высокий, стройный и даже франтоватый, — так шла ему военная выправка; он и лицом был красив, и ступал гордо, но страсть к картонным погонам не мог избыть: вырежет прямоугольники, разрисует и крепит полковничьи звезды поверх сержантских лычек; вот он в сорок шестом, простившись с врачами, сел в поезд и поехал домой, намереваясь в Минске найти другой поезд и добраться до Калинина, но в Лиде, где состав стоял четыре минуты, вышел покурить, достал мятую пачку «Беломора», спички и тут боковым зрением увидел вспышку огня, метнувшегося из-под вокзального навеса... он дернулся, присел и машинально закрыл голову руками, но звука взрыва правое его неполноценное ухо не услышало... он медленно привстал и увидел женщину с прекрасной копной рыжих волос, горящих отчаянным пламенем и бликующих под ярким солнцем дня... он остолбенел и так стоял с пачкой папирос, глядя в этот трепещущий костер, — молча, ошеломленный, пораженный... тяжелым потоком волосы струились вниз, до талии, и казалось, их нельзя вынести, унести, да просто поднять... он смотрел и смотрел, а она подошла к нему и сказала: пойдём со мной, милый... поезд между тем дрогнул, лязгнул и медленно пошел! он глянул на вагон и, одним махом залетев в тамбур, пробежал несколько шагов, схватил *сидорок*, вернулся и уже на хорошем ходу вылетел наружу... женщина стояла там же

и, увидев его, медленно пошла навстречу; стали они вместе жить; Белла была оператором почтовой связи, то есть работала на почте, а он съездил в Хрустальную и пристроился к стекольному заводу, — со временем Полковник стал лучшим стеклодувом и делал такие штуkenции, которые впоследствии оказались даже и в музеях мира; голова его, впрочем, не поправилась: щеголяя в гимнастерке, он не забывал о наличии полковничьих погон и делал их теперь из тонкой фанеры, раскрашивая цветным карандашом, — погоны придавали ему весу, и он ими гордился; зайдя вперед, надо сказать, что в ветеранской среде его очень уважали, а в военкомате он был самый известный фронтовик, — в шестьдесят пятом его вызвал военком и торжественно вручил юбилейную медаль «Двадцать лет Победы», при этом военком сказал: поздравляю вас, товарищ сержант! — полковник, сказал Полковник, — конечно, сказал военком, поздравляю вас, товарищ полковник! и отдал честь; его звали в школы, училища и один раз позвали даже в Минск, где он рассказывал о своем участии в создании секретной базы в Антарктиде, где ковалось сверхновое оружие победы; школьники его любили, потому что он травил байки и действовал не по учебнику: то он, сражаясь подо Ржевом, лично зарезал штык-ножом полтора десятка фрицев, то в Аушвице подкарауливал охранников, нападал на них в сумерках из-за угла барака и душил, а потом — после войны готовил диверсионные группы на случай американского вторжения; учителя спрашивали: а вы после войны разве не в госпиталях лечились? да, отвечал он, это все было операцией прикрытия, — вроде бы лечился, а на деле обучал диверсантов; каждое утро в воскресенье он брал красный флаг и ходил с ним по Лиде, — обычно по Советской — мимо костела, собора Архангела Михаила и пожарной части — вплоть до старого кладбища, а потом назад; возвращаясь домой, залпом выпивал стакан водки и ложился спать; Белла его боготворила, любила так, как любят ребенка, тем более что детей у них не случилось, а он в ответ обожал ее и, фигурально выражаясь, возносил на пьедестал, — красоту жены считал даром небес и не понимал вообще, как ему досталось такое сокровище; рыжие волосы ее, тяжелые и густые, были его фетишем, — глядя на них, трогая их, вдыхая их ароматы, Полковник входил в молитвенное состояние, чувствовал возвышенную восторженность, экзальтацию и воодушевление... волнистые пряди могли подвигнуть его на любой подвиг, и он жизнь мог отдать за обладание ими, за возможность любить их и лелеять; так, в горячечной любви, промелькнуло девять лет, и мать Беллы заболела злобной болезнью, от которой не было спасения, — ее поместили в хорошую минскую клинику, полгода мучили сильными лекарствами, но живой в Лиду она не вернулась, а следом за ней ушел с тоской в сердце и Флавиан, не вынесший потери и, видно, стремившийся поскорее свидеться с женой... шло время, Белла все сидела на почте, правда, уже в кабинете с табличкой *Начальник*, а Полковник по-прежнему выдувал в Хрустальной свои изумительные вазы, которые без промедления отправлялись на выставки и в музеи; детей так и не было, и

Белла с Полковником подумывали уже об усыновлении какого-нибудь шустрого юнца, но все как-то было недосуг: то соцсоревнование между почтовыми отделениями города, то встреча Полковника с партхозактивом или жожаками комсомола, и все никак, а дом без детей — это не дом, но за работой они жизнь мало замечали, в выходные спали до восьми, Полковник выгуливал свой флаг, пил дежурный стакан водки и снова спал, Белла слабела, старела, а потом как-то поехала в Минск, побыла там немного, и через недели две вернулась: прямо с поезда, с того места на перроне, где тридцать лет назад сказала Полковнику *пойдем со мной, милый*, она, пройдя насквозь вокзальное здание, вышла с обратной стороны вокзала и направилась в парикмахерскую на улице Труханова, где в дамском зале царил Живоглот, которого лидские мужики боялись, а женщины — хотели, чуя в нем животное; домой явилась она в новом виде и, едва зайдя, увидела Полковника, который стоял прямо перед ней, — как раз было воскресенье, — она вошла, и Полковник онемел — онемел и окаменел, она сняла пальто, а Полковник каменел, она разулась, а Полковник продолжал каменеть... и только когда она посмотрела в его глаза, полные ужаса, он очнулся, поднял правую руку и изо всех сил ударил ее по лицу! она вспыхнула, но смолчала, слезы явились у нее в глазах, она шагнула в сторону, обошла его и села к столу... как? спросил он, как это может быть? — *пойдем со мной, милый*, сказала она, и он, как теленок, пошел за ней, а она завела его в кладовку, взяла веревочный моток и говорит: вот твоя судьба, вешайся уже! — потом она пошла по начальству, взяла отпуск на работе, и начальство, войдя в ее обстоятельства, все подписало, — через пару дней она снова была в Минске, и он помчался вслед, но уже ничего нельзя было изменить: ей дали химию, долго мучили, потом резали и опять мучили, и так почти год, — деньги кончились, дом в Лиде стоял в разоре, она угасала, и ее выписали, чтобы не портить статистику больницы; Полковник привез ее домой, она была на ногах, но уже слабела и почти перестала есть, потом слегла и, уже из последних сил цепляясь за жизнь, лежала, бессмысленно глядя в потолок, а в конце апреля, когда в саду цвели яблони, позвала его утром и сказала: *пойдем со мной, милый...* он упал на колени и, в голос рыдая, провыл: *прости... прости...* вечером она ушла, — а он — остался и прожил долгую-долгую жизнь; каждую ночь брал отцов крупноскоп, влезал на чердак и из слухового окошка смотрел в небо, где блистала бело-голубая, но раскаленная почти как солнце прекрасная Беллатрикс, которая никогда не погаснет...